

АЛЕКСЕЙ НОВИКОВ

ПОСЛЕДНИЙ
ГОД

Алексей Новиков

Последний год

«ФТМ»

1961

Новиков А. Н.

Последний год / А. Н. Новиков — «ФТМ», 1961

Имя писателя Алексея Новикова знакомо читателям по романам: «Рождение музыканта» (1950), «Ты взойдешь, моя заря!» (1953), «О душах живых и мертвых» (1957, 2-е изд. 1959). В этих книгах, выпущенных издательством «Советский писатель», автор рассказывает о жизни и творчестве Михаила Глинки, Гоголя, Лермонтова, Белинского, Герцена, Кольцова. В тех же романах писатель обратился к образу Пушкина, к его широким дружеским связям с передовыми деятелями русского искусства. Роман А. Новикова «Последний год» (1960) целиком посвящен Пушкину, последнему периоду его жизни и трагической гибели (1836–1837 годы). В полную меру своих сил творит Пушкин – поэт, романист, историк, издатель журнала, собиратель молодых талантов русской литературы, – и в это же время затягиваются в один узел тайные нити заговора, угрожающего жизни поэта. Сокровенные чаяния политических врагов Пушкина угодливо осуществляет проходимец Дантес. «Семейная драма» Пушкина раскрывается в романе А. Новикова как одно из звеньев того же чудовищного заговора многоликой реакции против народного поэта. Автор использовал обширный исторический материал, частично неизвестный или мало известный широкому читателю, и заново прочел некоторые свидетельства современников, сочетав труд исследователя с задачами художественного воплощения темы.

© Новиков А. Н., 1961

© ФТМ, 1961

Содержание

Часть первая	5
Глава первая	5
Глава вторая	8
Глава третья	12
Глава четвертая	16
Глава пятая	19
Глава шестая	23
Глава седьмая	27
Глава восьмая	30
Глава девятая	34
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Алексей Новиков

Последний год

Часть первая

Глава первая

Дородный кучер с ходу осадил лошадей. Седок покинул щегольскую коляску и пошел, сутулясь, к чугунной ограде.

Немногие прохожие, оказавшиеся в этот ранний час на набережной Мойки, почтительно сторонились: всемогущего графа Бенкендорфа узнавал каждый житель Петербурга.

Войдя в ворота, граф направился по садовой дорожке к длинному одноэтажному зданию, крашенному охрой, как все присутственные места в столице. Массивные двери особняка настежь распахнулись, потом наглухо закрылись.

В Третьем отделении собственной его величества канцелярии начался обычный деловой день.

Прошло около десяти лет с тех пор, как император Николай I осуществил мысль о коренном преобразовании тайной полиции. Мысль была счастливая и вполне своевременная. Прежние органы секретного надзора сами вынесли себе смертный приговор: они проглядели заговор 14 декабря 1825 года. Вновь созданное Третье отделение и корпус жандармов, объединенные в надежных руках Бенкендорфа, призваны к исследованию всех происшествий, относящихся до высшей полиции.

Управляющий Третьим отделением приезжает на Мойку раньше многих чиновников. Углубясь в работу, он делает на бумагах короткие пометки, иногда оборванные на полуслове...

К приезду управляющего приготовлены важнейшие дела, ожидающие рассмотрения. Июньское солнце заливает обширную комнату озорными лучами. Солнечные зайчики, прыгая с хрустальной люстры на письменный стол, взапуски носятся по самым секретным бумагам.

Александр Христофорович вошел в кабинет, все так же сутулясь, недовольно глянул на окна, задернул светлые шторы и, сев в тяжелое кресло, раскрыл ближайший картон.

За стенами кабинета давно трудились чиновники, – граф никого не вызывал. Он читал бумаги в одиночестве, по раз навсегда заведенному порядку. Иногда морщился или недоуменно поджимал губы, порой протирал усталые глаза и снова углублялся в чтение.

В Третье отделение поступает все больше и больше добротных доносов. Правда, усердные доносчики оказываются часто жертвами только собственного беспочвенного страха. Но граф изучает почту с неизменным вниманием: в гудах шлака могут оказаться крупички чистого золота.

– Очень хорошо! Пусть пишут! – вслух промолвил Александр Христофорович и, покончив с доносами, приступил к чтению жалоб и просьб, стекавшихся в Третье отделение в не меньшем количестве.

По святому убеждению во вселили Третьего отделения, жалобщики просили сиятельного графа Бенкендорфа буквально обо всем: об отмене судебных решений, о рекомендации домашних учителей, обуздании лихоимцев, взыскании карточных долгов, воздействии на разгульных мужей и наказании неверных жен.

– Пусть просят! Очень хорошо! Высшая полиция должна властвовать умами и сердцами.

В кабинете снова воцарилась тишина. Александр Христофорович поднял голову от бумаг только тогда, когда увидел перед собой ближайшего помощника, действительного статского советника Мордвинова.

– Справка, которую изволили затребовать, ваше сиятельство, – сказал Мордвинов, почтительно кладя на письменный стол новый картон с надписью: «Совершенно секретно».

– Угу! – ответил всемогущий граф, не отрываясь от занятий.

Мордвинов покинул кабинет с той опасливостью и быстротой, которые мало соответствовали его собственному превосходительному чину. Но что значит любой чин в кабинете графа Бенкендорфа!

Александр Христофорович еще раз протер усталые, покрасневшие глаза и, взявшись за только что принесенную справку, быстро пробежал тщательно перебеленные писцом строки.

«...в минувшем апреле сего 1836 года известный сочинитель Пушкин, по случаю смерти матери его, выезжал в Псковскую губернию, в родовое село Михайловское, где и присутствовал при погребении покойницы в ближнем Святогорском монастыре. Сведений о предосудительном поведении господина Пушкина от начальствующих лиц Псковской губернии не поступало...»

Бенкендорф протяжно зевнул. Нимало не заинтересовался он сообщением и о том, что Пушкин, вернувшись из Михайловского в Петербург, был изобличен в тайном получении письма от государственного преступника Кюхельбекера, поселенного в Сибири.

«Единожды действительно уличили, – согласился Александр Христофорович, – но доколе же будем тем похваляться?»

Он перевернул страницу.

«Отправившись после сего в Москву, – читал управляющий Третьим отделением, – оный сочинитель Пушкин проживал у неслужащего дворянина Нащокина, известного пагубным пристрастием к карточной игре и незаконным сожительством с таборной цыганкой...»

«Эка невидаль! – отмахнулся Бенкендорф. – Все они, неслужащие, привержены к разврату».

В справке значилось далее, что Пушкин ездил в Москву по делам высочайше разрешенного ему на 1836 год издания журнала «Современник», о чем и свидетельствовали, по установленному наблюдению, его встречи с московскими литераторами.

Александр Христофорович продолжал читать с прежним равнодушием и вдруг прищурил один глаз, – по сведениям агентуры, редактор-издатель «Современника», будучи в Москве, вел оттуда обширную переписку.

Казалось, именно этих сообщений и ждал всемогущий граф. Но летописцы из Третьего отделения, едва коснувшись корреспонденции Пушкина, вернулись к собственным рассуждениям.

Бенкендорфа несколько не заинтересовал отчет о журнальной сваре, начавшейся в связи с выходом первого номера пушкинского «Современника».

Александр Христофорович испытывал после ознакомления со справкой двойственное чувство.

«Призвать бы Мордвинова и объявить: «Плохи наши агенты! Из рук вон плохи! Добрались до переписки Пушкина, а о чем идет речь – не знают. Может быть, эти письма будут куда важнее, чем оказалось, к примеру, письмо государственного преступника и сумасброда Кюхельбекера. Нашли, олухи, чем хвастаться!»

Но, произнеся мысленно эту укоризненную речь, граф никого не вызвал. Можно сказать, и все наставление, адресованное подчиненным, родилось только по привычке.

В данном случае несовершенная работа Третьего отделения вполне устраивала управляющего. В общую перлюстрацию не попало письмо Пушкина из Москвы, адресованное жене. Зато копия с этого письма дошла до Бенкендорфа особо секретным, окольным путем.

Среди разных московских новостей Пушкин писал Наталье Николаевне:

«И про тебя, душа моя, идут кой-какие толки, которые не вполне доходят до меня, потому что мужья всегда последние в городе узнают про жен своих, однако ж видно, что ты кого-то довела до такого отчаяния своим кокетством и жестокостью, что он завел себе в утешение гарем из театральных воспитанниц».

Речь идет, конечно, о священной особе государя. Но для камер-юнкера Пушкина нет ничего святого. И преступное письмо находится в полном распоряжении графа Бенкендорфа. Докладывать или не докладывать его величеству?

Все, что касается госпожи Пушкиной, требует особенной осмотрительности. Разгадать намерение императора совершенно невозможно. Похоже на то, что монарх имеет какие-то дальние, сокровенные виды. Но, удостоив когда-то графа Бенкендорфа полным доверием в этом деле, император в последние годы никогда не беседует о нем с шефом жандармов, даже в тех случаях, когда обсуждается неблагоприятная деятельность мужа госпожи Пушкиной... Так докладывать или не докладывать его величеству о шекотливом письме?...

Деловой день в Третьем отделении шел к концу. Кучер уже подал к воротам, выходящим на Мойку, графскую коляску и едва сдерживал застоявшихся лошадей. Александр Христофорович, закончив прием докладов, все еще не покидал свой служебный кабинет.

Глава вторая

Это случилось давно, в 1830 году, в Москве. Император Николай I в сопровождении графа Бенкендорфа посетил бал в дворянском собрании. Милостиво-холодно отвечал он на изъявления верноподданнических чувств, равнодушно наблюдал за танцами.

Белокаменная представила на этот бал всех признанных красавиц. Танцующие пары едва двигались по переполненному залу. Все стремились задержаться хоть на короткий миг там, где пребывал император, окруженный свитой. Но он начинал скучать. Его глаза равнодушно скользили по танцоркам, пленявшим роскошью нарядов.

В это время неподалеку от царя впервые проплыла в танце девушка, совсем еще юная, вовсе не отличавшаяся богатством туалета. Может быть, на придирчивый взгляд, ее бальные перчатки и атласные башмачки показались бы даже и не очень свежими. На какой-то миг она подняла на императора светлые, чуть-чуть раскосые глаза и тотчас опустила ресницы.

Вскоре танцорка, слегка порозовевшая от движения, снова появилась. По-видимому, она не осмелилась еще раз взглянуть на венценосца. Но, казалось, потоки света лились только на нее.

Николай Павлович привычно выпятил грудь, коснулся рукой стоявшего рядом графа Бенкендорфа.

– Кто такая? – тихо спросил он.

Наташа Гончарова продолжала танцевать, не проявляя никакого интереса к своим кавалерам. Она нимало не удивилась, когда в толпе окружавших ее поклонников вдруг появился Александр Пушкин, только что прискакавший из Петербурга. Наташа помнила очень хорошо: маменька прочла ее одно время за этого Пушкина, а потом, как видно, раздумала...

Началась мазурка с бесконечным количеством замысловатых фигур. В паузе партнер Наташи стоял за ее стулом. Он рассыпал перед ней блестящие остроумия, он был положительно в ударе, этот острослов, во всем разочарованный по требованию моды. Наташа слушала молча, даря кавалера робким взором.

– Да-с, – изредка отвечала она. А иногда, подумав, с той же милой застенчивостью произносила: – Нет-с.

Настала ее очередь вступить в танец. Легкая и грациозная, Наташа Гончарова пронеслась мимо Пушкина.

– Вы, должно быть, больше всего любите мазурку, не правда ли? – спрашивал ее кавалер.

– Да-с, – рассеянно ответила Наташа, а думала о своем: «У маменьки семь пятниц на неделе, – кажется, сватовство за Пушкина опять возобновится».

Предполагаемый жених получил от нее такую же милую улыбку, какую получали все кавалеры. А поэт стоял перед ней растерянный, как всегда ослепленный ее красотой.

Бал шел к концу. Наташу приглашали на расхват, но она, кажется, даже не заметила своего успеха. Она осталась совершенно равнодушной и тогда, когда до нее докатилась весть, взволновавшая всех московских невест и маменек: «Император отметил Наталью Гончарову!»

Николай Павлович действительно ее отметил и запомнил. Во время пребывания в Москве он не раз заговаривал о ней с графом Бенкендорфом.

Бенкендорф считал за лучшее молчать.

О семействе Гончаровых по Москве ходили разные толки. Старики с ухмылкой вспоминали екатерининского генерал-лейтенанта Ивана Александровича Загряжского. Начудил в свое время покойник! Уехал в Париж, а оттуда привез к законной супруге в подмосковное имение Ярополец новую жену француженку и богоданную от нее дочь. Жены Ивана Александровича, к удивлению всей Москвы, быстро между собой столковались. Вытолкнув беспутного мужа из Ярополяца в три шеи, стали вместе растить русских детей и парижскую дочку Наталью.

Когда Наталья Загряжская подросла и была взята к петербургскому двору, здесь произошло из-за нее целое амурное происшествие. Рассказывали о нем с оглядкой, потому что были замешаны в происшествии высочайшие особы. У супруги императора Александра I был в то время на примете бравый молодой офицер, а офицеру возьми да и приглянись юная Наталья Загряжская. Страшно сказать – девица сомнительного парижского происхождения заступила дорогу российской императрице!

О дальнейших смутных обстоятельствах перешептывались в Москве и вовсе с опаской: офицер, приглянувшийся ее величеству, умер не своей смертью. А Наталье Ивановне Загряжской стали сватать состоявшего на службе в столице москвича – Николая Афанасьевича Гончарова. Опять, впрочем, незавидный род: Гончаровы получили скороспелое дворянство за купеческий капитал да за калужские мануфактуры.

Когда Николай Афанасьевич привез молодую жену в Москву и поселил ее в гончаровском доме на Большой Никитской, тут скоро поняла Наталья Ивановна, что попала из огня да в полымя. В Петербурге она сама прошла через амурную историю, а у Гончаровых сидел под Калугой, в имении Полотняный завод, посланный ей судьбой свекор, Афанасий Николаевич, и творил несказуемое.

Это был тот самый Афанасий Николаевич Гончаров, который удивил даже выдавших виды московских бар. Отправившись в странствия по Европе, сумел пустить по ветру миллионы, сколоченные дедами на калужских заводах, за что и прославил фамилию Гончаровых во всех увеселительных заведениях сколько-нибудь крупных европейских городов.

Афанасий Николаевич странствовал и чудил. В Москве, отдаленная мужем, томилась его умалишенная жена. Возвратясь в отечество, Афанасий Николаевич твердо держался европейского просвещения – выписывал из Парижа сменных мадам. Мадамы догрызали остатки, уцелевшие от былых миллионов. Для покрытия расходов Афанасий Николаевич выколачивал по копейке при расчетах с рабочим людом. Жизнь на Полотняном заводе шла к полному разорению. Собственно, и Полотняного завода давно не было. Кое-как работала, опутанная сетью неоплатных долгов, бумажная фабрика.

Наталья Ивановна поселившись с мужем в Москве, жила тихо, незаметно. Бог благословил ее и сыновьями и дочками. По прошествии времени стала, однако, Наталья Ивановна примечать: то впадет Николай Афанасьевич в меланхолию, то вдруг предастся буйному самоубийству. Когда же младшей их дочери, Наталье Николаевне, исполнилось десять лет, отец окончательно и непоправимо сошел с ума. С тех пор держали его в отдельной комнате во флигеле, подальше от людей и под неусыпным надзором. Порой Николай Афанасьевич бросался с ножом на подходившую к нему супругу; в иное время сидел неподвижно, ко всему безучастный, с вывалившимся на подбородок языком.

Наталья Ивановна сначала плакалась на вдовью при живом муже долю, потом стала тешить себя целебными травниками и еще горше жаловалась на судьбу заходим странникам и богомолкам, которых принимала во спасение души. А наплакавшись и наговорившись о божественном, уезжала из Москвы в Ярополец. Имение досталось ей по наследству от отца. В Яропольце числилось около двух тысяч крепостных душ, но о былом богатстве свидетельствовали только безнадежные закладные.

Наталья Ивановна бродила по запустевшим рощам. Может быть, вспоминала странное свое детство, а может быть, петербургскую историю да переменчивую дворцовую фортуны. Мерещилось безвозвратное и несбывшееся.

К вечеру хозяйка возвращалась в одряхлевший от старости барский дом и прислушивалась к тому, как гулял да ухал в нежилых покоях студеной ветер.

Как скоротать такие вечера? Отведав травничка, призывала Наталья Ивановна приглянувшегося ей дворового человека и, согрешив, вставала на молитву и каялась. Только опять

же мешал разбойник ветер – то ухнет где-то за стеной, то будто гогочет по всему дому. Ветер-разбойник или нечистая сила?..

А дочери между тем подрастали. Их держали то в московском доме, то отсылали к деду под Калугу, то мать вывозила их неведомо зачем в Ярополец.

Барышни писали братьям в Москву: «Что с нами будет?..»

Старшая, Екатерина, смотрела в вековуши; следующая, Александра, тоже заневестилась. Начали вывозить младшую – Наташу. Москва ахнула на ее красоту: словно нарядили портнихи с Кузнецкого моста какую-нибудь древнегреческую Психею. Психея танцевала на балах, ко всем равнодушная. Будто знала, что нет для нее достойною избранника. Подходящих женихов в самом деле не находилось: кто же в здравом уме будет сватать у Гончаровых?

В это время и явился перед очи Натальи Ивановны жених для Наташи – сочинитель Пушкин.

Александр Сергеевич признавался чистосердечно: «Когда я увидел ее в первый раз, красоту ее едва начинали замечать в свете. Я полюбил ее, голова у меня закружилась, я просил руки ее».

Сестры сидели взаперти на Никитской и, таясь от матери, гадали о будущем.

– Пушкин! – мечтала Александрина. Она была без ума от его стихов.

Александрина, смутившись своего порыва, умолкала. Не к ней, а к Таше сватается поэт. К Таше, неведомо за что, может прийти невысказанное, несказанное счастье! А ей, Азиньке, суждена горькая доля – похоронить надежды, не успевшие расцвести...

Екатерина, не обращая внимания на сестер, твердила как завороченная:

– За кого угодно пойду, только бы выбраться живой из могилы!

Из флигеля неслись страшные, нечеловеческие крики – Николай Афанасьевич был в буйстве.

Наталья Ивановна клала земные поклоны в моленной:

– Смиловись, владычица! Три дочери на руках...

Но сватовство так и не клеилось. Наташа была совсем безучастна. Наталья Ивановна куражилась. А именитые женихи по-прежнему сторонились семейства Гончаровых. Пришлось снова подать надежду этому сочинителю. Выказалась Наталья Ивановна туманно и скрепя сердце, но его тотчас принесла нелегкая в Москву и в то самое время, когда император отметил на бале Наташу. Может быть, теперь дадут матери знак – везти дочку в Петербург?

Наталья Ивановна была в смятении чувств. Не знала, как ей сбыть с рук дурацкое сватовство. Места не находила. И скандал же закатила она постылому жениху! Будет помнить! А понося не вовремя навязавшегося жениха, все больше терзалась от сокровенной думы: ему ли пилить глаза на Наташу, коли осчастливил ее взором сам император!

Наталья Ивановна бушевала. Наташа по-прежнему оставалась равнодушной.

Пушкин, несмотря на любовный хмель, многое видел. Он писал будущей теще:

«Привычка и долгая близость одни могли бы помочь мне заслужить расположение вашей дочери; могу надеяться привязать ее к себе с течением долгого времени, но во мне нет ничего, что могло бы ей нравиться. Если она согласится отдать мне свою руку, – я увижу в этом лишь доказательство спокойного безразличия ее сердца. Но, будучи окружена восхищением, поклонением, соблазнами, надолго ли сохранит она это спокойствие? И станут говорить, что лишь несчастная судьба помешала ей заключить другой союз, более равный, более блистательный, более ее достойный, может быть, такие отзывы будут и искренни, но она уж наверное сочтет их таковыми. Не испытает ли она сожалений? Не начнет ли она смотреть на меня, как на помеху, как на коварного похитителя?»

Таковы были родившиеся у Пушкина опасения. «Есть еще одно, которое я не могу решиться доверить бумаге...» – значилось далее в этом письме.

Письмо было написано вскоре после бала в Дворянском собрании, на котором присутствовал император.

Глава третья

Император, вернувшись в Петербург, снова вспомнил о московской красавице. Престарелая фрейлина царицы Екатерина Ивановна Загряжская оказалась родной теткой Натальи Гончаровой. Николай Павлович повторил перед ней горячие комплименты прелестной Натали.

Екатерина Ивановна, давно привыкшая к почетному забвению на фрейлинской половине дворца, вдруг ощутила всю прелесть мечтаний о благостном повороте судьбы. Уже послала было многоопытная фрейлина тайную весточку в Москву, сестрице Наталье Ивановне... А император опять умолк.

Даже граф Бенкендорф, хорошо осведомленный о любовных эскападах его величества, считал, что московский случай предан забвению.

Но именно на Наталье Гончаровой вздумал жениться Пушкин. Мать невесты потребовала у жениха удостоверение от высшего правительства в том, что не числится он ни в бунтовщиках, ни в подозрительных. Хитро придумала Наталья Ивановна: авось, когда дойдет дело до царя, даст понять – выдавать ли замуж приглянувшуюся ему Наташу?

Николай Павлович, выслушав доклад графа Бенкендорфа, был взволнован. Новость оживила его воспоминания.

– Мила, очень мила, – разнеженно повторял император. – Мила и будит что-то такое-такое... Хорошо помню, – в оловянных глазах Николая Павловича вспыхнули огоньки.

А Бенкендорф вернул императора от приятных воспоминаний к делам докучливым:

– Еще просит Пушкин разрешения печатать известную вашему величеству трагедию «Борис Годунов»...

– Опять просит за «Годунова»? Ништо ему!

Николай Павлович задумался. В свое время он, снизойдя к сочинителю, преподал важный совет: переделать трагедию в повесть или роман наподобие романов Вальтер Скотта, – разумеется, с очищением текста от всей грязи и непристойностей. По своему упрямству Пушкин пренебрег мудрым советом.

Так прошло пять лет.

– Позволю напомнить вашему величеству, – прервал молчание Бенкендорф, – что в свое время литераторы, пользующиеся заслуженным доверием власти, справедливо указывали на весьма опасные политические намеки, щедро рассыпанные в трагедии. Имею в виду секретную докладную записку господина Булгарина, представленную в Третье отделение...

– Намекает, мол, Пушкин под видом описания бунтов московских на богомерзкие действия моих друзей четырнадцатого декабря? Хвалю усердие Булгарина. А коли и найдутся охотники до тех намеков, тем скорее возьмешь их под свое наблюдение, граф.

Бенкендорф обратил к императору понимающий взор.

– А по сему, – заключил император, – коли убрал Пушкин из трагедии своей прямые непристойности, пусть, пожалуй, печатает, но на свою ответственность. Сам, мол, коли что, будет в ответе. Так ему и объяви!

Николай Павлович, приняв милостивое решение, стал по привычке рисоваться собственным великодушием: он ли не покровительствует словесности? Впрочем, вскоре он опять вернулся к предстоящему замужеству Натальи Гончаровой.

Император нашел вполне оригинальную форму для изъяснения своих чувств невесте Пушкина. Шеф жандармов и управляющий Третьим отделением должен был сочинить официальную бумагу, – вероятно, единственную в своем роде.

«Его величество, – писал Бенкендорф поэту, – надеется, что господин Пушкин найдет необходимые качества характера для составления счастья женщины, в особенности такой милой и интересной, как мадемуазель Гончарова».

Первый сановник государства, на которого царь еще раньше возложил наблюдение за Пушкиным, стал наперником сердечных излияний его величества.

А Наталье Ивановне Гончаровой лучше бы, пожалуй, и ничего не знать. Царские слова, столь милостивые и многообещающие, разрывают материнское сердце. Подумать только: «Милая и интересная!» Если бы разгадать, какое будущее для Наташи скрыто в этих словах, обращенных с высоты престола!

Между тем объявленного жениха повезли на Полотняный завод, к деду Афанасию Николаевичу.

Афанасий Николаевич благословил жениха. Сам водил его по запустелой усадьбе. Рассказывал о былом великолепии Полотняного завода. Расспрашивал Пушкина о его петербургских знакомствах: сможет ли будущий муж любимой внучки Натальи исхлопотать ему ссуду от казны? Показал между прочим памятную достопримечательность – многопудовую статую матушки царицы Екатерины II, купленную в давние, счастливые времена Афанасием Николаевичем в Берлине. Привезли статую из Берлина под Калугу, а водрузить ее на избранном месте, на подобающем постаменте не нашлось капитала. В деньгах начались к тому времени постоянные нехватки.

Хозяин Полотняного завода стоял с непокрытой головой перед поверженным на землю монументом, говорил о почившей царице с благоговением. Потом прищурился и сказал деловито:

– За бронзу сию, если перелить статую в металл, можно взять большие тысячи.

Позднее выяснилось, что Афанасий Николаевич поручает будущему родичу хлопоты в Петербурге о продаже статуи. Коли удастся сбыть с рук матушку царицу, тогда пойдет выручка в приданое любимой внучке Наталье.

Пушкин озадачился неожиданным приобретением. Наталья Ивановна опять прогневалась. Кого жалует беспутный Афанасий Николаевич? Жениха без должности и чинов, с состоянием – кот наплакал!

А у самой так и лежат на сердце царские слова: в них-то, может быть, кроется совсем другая судьба для Наташи. Долго крепилась Наталья Ивановна. Но по возвращении в Москву еще раз отвела душу на ненавистном женихе, да так отвела, что Пушкин уехал в нижегородское имение отца Болдино.

Перед отъездом он писал невесте:

«Я отправляюсь в Нижний, без уверенности в своей судьбе. Если Ваша мать решилась расторгнуть нашу свадьбу, и вы согласны повиноваться ей, я подпишусь под всеми мотивами, какие ей будет угодно привести мне, даже и в том случае, если они будут настолько же основательны, как сцена, сделанная ею мне вчера, и оскорбления, которыми ей было угодно меня осыпать... Во всяком случае вы совершенно свободны; что же до меня, то я даю вам честное слово принадлежать только вам, или никогда не жениться».

В Болдине поэт засел за работу. Из Москвы долго не было никаких известий.

Но никто не сватался ни к одной из сестер Гончаровых. Единственный жених Наташи, обнаруживший серьезные намерения, был далеко.

Москва из-за холеры совсем опустела. Наталью Ивановну начали мучить новые сомнения: как бы не упустить и Пушкина!

На всякий случай она приказала дочери-невесте отвечать жениху. Приказывала, чтобы Наташа советовала нечестивцу молиться и каяться. Дочка по возможности таким благочестивым наставлениям противилась, но письма-коротышки писала.

Наталья Ивановна все еще чего-то ждала. Чего? Даже сама себе признаться не смела. Даже от всевышнего таилась. Только теплила в моленной неугасимые лампы. Авось придет какая-нибудь весточка из Петербурга...

Но зря горели неугасимые лампы. Пришлось смириться, сызнова принять нежеланного жениха.

Пушкин вернулся из Болдина в Москву. Выдал деньги будущей теще на приданое для невесты. Не в обычае брать с жениха на приданое, да надо же хоть чем-нибудь утешиться в горе чадолюбивой матери.

Свадьба наконец состоялась. В церкви был торжественный съезд гостей. Удалось привезти даже отца невесты, благо Николай Афанасьевич был в тихом состоянии. Конечно, не спускала с него глаз Наталья Ивановна. Но и у нее захватило дух, когда отцу невесты пришлось расписываться в церковной книге. Вдруг вспомнит он свои повадки и подмахнет: «Уничтоженная тварь Николай Гончаров»... В последние годы иначе не пишет о себе Николай Афанасьевич. Но сжалился, видно, над Натальей Ивановной бог, отец невесты расписался без всяких причуд.

А не прошло и недели после свадьбы – Наталья Ивановна опять забушевала: все-таки продешевила, прости господи, Наташину красоту!

Жизнь поэта в Москве стала тягостна. Вскоре Наталья Николаевна Пушкина оказалась вместе с мужем в Петербурге.

Император танцует с Натальей Николаевной на балах. Как лихой прапорщик, ездит мимо окон ее квартиры и при встречах не спускает с нее глаз.

История продолжается шестой год, но не имеет ничего общего ни с похождениями Николая Павловича на фрейлинской половине дворца, ни с его молниеносными атаками на воспитанниц театрального училища. Граф Бенкендорф имеет немало наблюдений, но готов биться об заклад – венценосный искатель не добился никакого успеха.

А теперь и муж Пушкиной, облаченный по милости императора в камер-юнкерский мундир, позволяет себе издеваться над безнадежными стараниями самодержца, встречающего жестокость кокетливой, но непреклонной дамы. Да еще выдумал для императора России какой-то турецкий гарем, – нигде не упустит случая, чтобы не отозваться о монархе с издевкой!

Копия щекотливого письма Пушкина к жене по-прежнему покоится в тайнике у графа Бенкендорфа. А он так и не решил: докладывать или не докладывать его величеству?

Александр Христофорович, пожалуй, и доложил бы с полной охотой, чтобы вернуть царя к прежней откровенности. Но опасно и перегнуть палку. Император полагает, что виды его на госпожу Пушкину облечены в непроницаемую тайну. Доложишь – и, чего доброго, вспугнешь его величество. Ладно, если царский гнев обрушится на голову вольнодумца. Пушкину все будет поделом. А коли, встревожив императора, сам попадешь в немилость?

Это тем опаснее, что на дворцовом горизонте восходит новая звезда. Интимный друг императора, генерал Владимир Федорович Адлерберг становится все более влиятельным в придворных сферах. Сам Александр Христофорович не знает, о чем беседует с ним с глазу на глаз его величество. В Зимнем дворце занимает ключевые позиции опасный соперник. Может статься, что проворный Адлерберг очень скоро будет если не официальным, то фактическим министром двора...

Граф Бенкендорф с утра ездил на Мойку, шел по дорожке мимо чахлах деревьев, которые не могли укрыть стоящего в глубине особняка, и ловил себя на мысли о том, что опять думает о проклятом письме.

Иногда, принимая доклад, он отвлекался от важнейших дел: «Не докладывать его величеству? А вдруг?..»

Что могло произойти вдруг, он, пожалуй, и сам не знал. Александр Христофорович служил императору по долгу неподкупной совести. Этому никак не препятствовало его негласное участие в различных акционерных компаниях. Особый интерес всемогущий граф проявлял к нарождающемуся пароходству. Самые матёрые из сановных дельцов дивились той ловкости, с

какой Александр Христофорович добывал пароходчикам такие льготы и привилегии, которых не добился бы никто другой.

Случись что-нибудь на путях государственного служения графа Бенкендорфа, что будет тогда с миллионными предприятиями, в которых он участвовал все шире и смелее?

А дело, из-за которого Александр Христофорович испытывал столько душевной тревоги, опять связано с Пушкиным: сам черт навязал ему на шею этого закоренелого либерала!

Глава четвертая

В Петербурге еще стояли белые ночи, но уже чуть потемнели прозрачные воды Невы. На раскаленных улицах столицы некуда укрыться от зноя. Только вековые парки, раскинувшиеся на невских островах, манили прохладой.

Под вечер сюда вереницей тянутся экипажи. Изящные дамы, совершающие прогулку, подобны пышным цветам разгорающегося лета. Даже чопорные молодые люди, сопровождающие красавиц, позволяют себе по летнему времени вольности в туалете: у одного чуть заметной искрой играет галстук, на другом – жилет светлых тонов. Дамы и кавалеры, покинув экипажи, медленно прогуливаются по аллеям Каменного острова. Смелое смещение красок словно создано для того, чтобы привлечь взор живописца.

Изысканную картину портят, пожалуй, только те любители природы, которые добираются из города собственным пешим ходом. Запыленные и взмокшие от жары, они держатся, правда, на почтительном отдалении. Но разве и малое пятно не портит картину, в которой художник все обдумал, все предусмотрел?

По счастью, эти незваные и непрошенные посетители являются только по воскресеньям и в другие табельные дни. В остальное время никто не нарушает летнего отдохновения избранного общества на Каменном острове.

Величественно-плавно текут могучие воды Невы, и гордо глядятся в их темное серебро барские дачи, раскинувшиеся на зеленых берегах. Одну из лучших дач, стоящую на берегу большой Невки, снимает, как значится в контракте, супруга камер-юнкера высочайшего двора Александра Сергеевича Пушкина. Злые языки судачат, что Наталья Николаевна сняла эту дорогую дачу в счет будущих доходов мужа от журнала. Но мало ли болтают досужие завистники! Ведь первый номер «Современника» еще в апреле вышел в свет, – стало быть, и доходы тоже, конечно, будут.

А какое общество живет на островах, собирается на Стрелке или в летнем каменно-островском театре! Правда, Наталья Николаевна не участвует в увеселениях. Ее крохотной дочурке Наташе нет и месяца. При ней безотлучно находятся нянька и кормилица, но разве доверишь им новорожденное дитя? Да и мать не оправилась после родов.

Наталья Николаевна лишь изредка появляется на веранде, еще реже гуляет по любимой аллее, ведущей к реке. Она решительно избегает любопытных глаз и чаще всего остается в верхних комнатах. Сидит в своем будуаре у раскрытого окна и вдыхает, вдыхает бальзамический воздух...

В саду звенят детские голоса. Любимица матери Машенька по праву старшинства беспощадно тиранит брата Сашку. Сашка лицом вышел весь в отца, но медлителен и робок. Он вечно отстает и от Машеньки и от няньки, этот увалень! С особой нянькой ковыляет по саду едва научившийся ходить младший сын Гриша. А только заревет, споткнувшись, Григорий Александрович, ему тотчас откликнется из своей детской Наташа. Эта крошка и плакать толком не умеет, пищит тоненьким, комариным писком. Легко ли управиться со всей этой оравой матери, которой нет еще и двадцати четырех полных лет?

Да если бы досаждали только дети! Гораздо больше хлопот молодой хозяйке дома с многочисленной прислугой. Хозяйка, пожалуй, не очень твердо знает даже по именам всех пушкинских и гончаровских дворовых, к которым прибавились, неведомо почему и как, еще и вольнонаемные слуги.

Слуги несут Наталье Николаевне счета из магазинов и от поставщиков, а вольнонаемные просят порой и невыплаченного жалованья. Но с тех пор, как к Пушкиным переехали из Москвы сестры Гончаровы – Екатерина и Александра, Наталья Николаевна охотно предо-

ставляет хлопоты по дому милой Александрине. Просто удивительно, откуда у Азиньки такой практический ум и такие умелые руки!

С утра Александра Николаевна, отдав распоряжения повару и буфетчику, садится за разборку счетов. Ее не соблазняют ни пригожий июньский день, ни дачные увеселения, о которых болтает с Екатериной Наталья Николаевна.

– Сегодня, Таша, будет блестящая кавалькада, – слышится из соседней комнаты голос Екатерины. – Говорят, что полюбоваться на кавалькаду придет сам наследник...

Александра Николаевна старается не слушать. Наморщив лоб, она откладывает те счета, по которым еще можно отсрочить платежи, и внимательно рассматривает те, по которым нужно платить немедленно. Эта пачка растет. Азинька начинает новый пересмотр: авось хоть что-нибудь можно еще раз отложить... Увы! Залежавшиеся счета от ювелира, из английского магазина, от модисток, из золотошвейной мастерской и опять от модисток откладывались столько раз!

Александрина еще больше хмурится. За стеной сестры продолжают болтовню. Коко, как с детства в семье зовут Екатерину, чему-то залихватно смеется. Слава богу, хоть Коко сегодня в добром настроении!

Наталья Николаевна слушает Екатерину и, находясь в вынужденном затворе, завидует старшей сестре. Она завидует ей еще больше, когда Екатерина Николаевна, такая статная в своей амазонке, готовится вскочить на верховую лошадь. Наталья Николаевна окидывает ее опытным взглядом и крепко целует. Зависть несколько не мешает любви, которая царит между сестрами. Наташа не меньше любит и Александрину, хотя Александрина, придя на смену Коко, тяжело вздыхает, а потом говорит всегда одно и то же – о назойливости поставщиков, требующих уплаты.

Наталья Николаевна слушает Азиньку рассеянно. «Как можно волноваться из-за пустяков? Дай бог удачи Коко на кавалькаде!»

День разгорается. Детей уже ведут из сада в столовую обедать. Когда туда пришла Наталья Николаевна, Александрина заботливо распоряжалась, следя за тем, чтобы каждый получил любимое блюдо.

Наталья Николаевна так захлопоталась с детьми, что не заметила, как с прогулки вернулась Екатерина. Переодевшись, Коко быстро взбежала наверх, в будуар Натальи Николаевны. Возбужденная, сияющая, с горячим румянцем на смуглых щеках, она порывисто обняла младшую сестру.

– Мне было так весело, Таша! – Екатерина присела рядом с сестрой, прикрыв глаза. Все еще не могла расстаться с недавней радостью.

– Я счастлива за тебя, дорогая! Кто же был твоим кавалером?

– Сказать? – Екатерина секунду колебалась, в упор глядя на Наташу, и вдруг заметно побледнела. – Изволь, скажу... Мне нет нужды скрывать... – Вздохнув всей грудью, она твердо отчеканила: – Барон Жорж Геккерен был сегодня моим спутником.

Наталья Николаевна подняла глаза на сестру:

– Да? И что же?

– И ты не ревнуешь? – Екатерина попыталась улыбнуться, но улыбка вышла невеселой. – Мне было бы легче, Таша, если бы ты ревновала.

– Ты очень хорошо знаешь, Коко, что мелешь вздор! Стоит ли снова обо всем этом говорить?

Екатерина молчала, поникнув головой. Заломила руки, сказала с тоской:

– Ах, Таша, Таша, что со мной будет? Люблю его, хотя знаю, что он смотрит только на тебя. Все знаю и ничего не могу с собой поделать.

– Чем же я могу тебе помочь? Завладей сердцем барона, если ты над ним властна, Коко...
– Наталья Николаевна в раздумье гладила по голове притихшую, опечаленную Екатерину. – Надеюсь, – продолжала она после долгого молчания, – барон ничего не спрашивал обо мне?

– Я хотела бы, – Екатерина быстро подняла голову, – о, как бы я хотела сказать тебе: «Нет, нет, нет!» Но ты все равно не согласишься! Изволь же: спрашивал, конечно, спрашивал, не понимая, как он меня терзает. – Она посмотрела на сестру с только что родившимся у нее подозрением: – Ты что-то скрываешь от меня, Таша?

– Представь, вчера я получила от него записку.

– Опять?!

– Но я не собираюсь делать из этого тайну от тебя, Коко! Барону вздумалось рекомендовать мне какой-то модный французский роман, – Наталья Николаевна улыбнулась. – Сколько раз я говорила ему, чтобы он прекратил свои ребячества! Кстати, я охотно уступлю тебе книгу, присланную бароном, если это доставит тебе удовольствие... Право, мне не до романов...

Невозможное спокойствие Натальи Николаевны привело Екатерину в полную растерянность. По-видимому, такой откровенности и такого великодушия она никак не ожидала. Коко бросилась к Таше и вдруг, охваченная новыми сомнениями, разрыдалась.

В комнату тихо вошла Александра Николаевна. Одного взгляда было ей достаточно, чтобы понять, что происходит с Екатериной. Ее безнадежная влюбленность в барона Дантеса Геккерена давно известна.

– Екатерина, – строго сказала рассудительная Азинька, – возьми себя в руки! стыдно видеть твое унижение!

Сестры продолжали разговор втроем. Когда они были вместе, красота Натальи Николаевны выступала еще резче, еще ослепительнее. Гончаровские черты, которые роднили ее и с Екатериной и с Александрой, были словно перевоплощены в ней гениальным художником. Казалось, художник допустил только один недосмотр – чуть-чуть раскосые глаза.

...Давно утихло в детских. Ночной свежестью веяло в открытые окна. Где-то далеко мигал и покачивался в летнем сумраке едва движущийся огонек. Кто-то медленно плыл в невидимом ялике по невидимой Неве.

– Александр Сергеевич опять остался в городе... – Азинька вздохнула.

Наталья Николаевна, задумавшись, ничего не ответила.

Глава пятая

На городской квартире Пушкиных было пусто и неудобно. Александр Сергеевич проснулся поздно и долго прислушивался к непривычной тишине. Даже в детской – и в той давящая тишина. «Не отправиться ли на Каменный остров? – подумал он и тотчас отогнал от себя соблазнительную мысль. – Заделался журналистом – вези воз!»

Пушкин быстро оделся, позавтракал в одиночестве в столовой и прошел в кабинет.

Бросилось в глаза письмо из Михайловского. От этого письма стал грустен. Там, в Михайловском, и годы изгнания, и молодость, и «Евгений Онегин», и «Борис Годунов», а теперь и свежая могила матери. Но зять, Николай Иванович Павлищев, знай пишет свое:

«Доход от имения следует исчислить в настоящее время в сумму... а можно бы было получить при должном управлении... – для убедительности аккуратно выписаны колонки цифр. – Расходу ныне... – продолжает Николай Иванович, – а при разумном же хозяйствовании можно было бы сберечь...» Между строк проглядывает плохо прикрытая алчность. Как бы ему, Павлищеву, законному супругу Ольги Сергеевны, рожденной Пушкиной, не упустить собственного интереса... Ольге Сергеевне еще недодано обещанное приданое, а пока управляет Михайловским батюшка Сергей Львович, староста и мужики последнее разворуют. Словом, когда же примет Александр Сергеевич, как старший наследник материнского имения, неотложные меры?..

Поэт отбросил недочитанное письмо и взялся за «Северную пчелу». Издатель «Пчелы» Булгарин на днях объявил, что будет говорить о пушкинском журнале «всемирно». И вот уже в третьем номере подряд строчит откровенный донос на «Современник» и его издателя.

«А! Добрался наконец до «Истории пугачевского бунта»!»

Александр Сергеевич стал читать внимательнее.

«Если бы мы сами стали разбирать это сочинение по всем законам критики, – писал в негодовании Фаддей Булгарин, – то оно не выдержало бы первого натиска... Что открыто нового, неизвестного в этой истории? Какие последствия извлечены из столь важного происшествия?.. Разгадан ли этот чудовищный феномен?»

А у него, у Пушкина, на руках почти окончанный роман, в котором опять идет речь о том же «чудовищном феномене» – Пугачеве.

Неужто собирается гроза и вместо первого удара грома раздастся злобный лай Булгарина? А рукопись «Капитанской дочки» тоже там, на Каменном острове. Снова потянуло на дачу. Махнуть на все рукой и сбежать на целый день! Поэт подошел к окну. За окном так и манит на простор Нева. Сбежать, безусловно сбежать, еще раз пересмотреть, взяты ли надежные меры к укрытию Емельяна Пугачева от всех соглядатаев! Сколько было трудов, сколько раз менял он план романа, чтобы защитить от цензуры свое создание! Но не зря собрался в поход Фаддей Булгарин. Надо, непременно надо ехать на Каменный остров, к Емельяну Пугачеву. Он, Пушкин, шестисотлетний дворянин, и беглый казак – бог их свел или черт спутал, а придется вместе воевать.

Совсем уже собрался было на дачу и вдруг рассмеялся.

«Опять хитришь, Александр Сергеевич! Говоришь о Пугачеве, а думаешь о Наташе... Что там с Наташей?»

Стал одеваться на выход, а из типографии принесли журнальную корректуру, пришлось за нее сесть. И все-таки ушел в этот день на Каменный остров.

Александр Сергеевич умел и любил ходить. Чем ближе был к цели, тем больше ускорял шаг. Переезжая в ялике через Неву, торопил старика лодочника, а тот отвечал равнодушно:

– Ништо тебе, ваше благородие, успеешь! – плевал на ладони и опять брался за весла.

Около берега Пушкин отдал старику серебряную монету. Легко и ловко, к удивлению перевозчика, перескочил из ялика на мостки.

В саду его встретили дети.

На шум вышла из дома Наталья Николаевна. Поджидая мужа, она стояла на веранде, вся в белом. Теперь Пушкин шел медленно, то ли потому, что мешали повисшие на нем Машенька и Сашка, то ли потому, что залюбовался женой.

– Жёнка, жёнка, как ты непереносно хороша!

К обеду он, конечно, опоздал. Когда для него накрыли, ел рассеянно, не отводя глаз от жены. Наталья Николаевна давно к этому привыкла, хотя и считала, что для такой восторженности минуло время. От нее веяло покоем и той прохладой, от которой еще больше томится жаждущее сердце.

– Ты опять задержался в городе! – корила мужа Наталья Николаевна. – Какая прелестьница тому причиной?

– Помилуй бог! – отвечал Пушкин. – Не могу сбить с рук журнальные дела.

– У вас, мужчин, всегда так. Дела... дела... Но, может быть, ты все-таки скажешь, кто та счастливица, которая...

– Царица души моей! – Пушкин воздел руки. – К лицу ли тебе ревновать – и к кому бы? Кроме пишущей братии да корректур, никого, кажется, и во сне не вижу. – Он оправдывался, но был рад ее женской придирчивости. – Не вели казнить, вели миловать, царица, верного раба! – Поэт быстро вскочил и, оглянувшись, крепко поцеловал жену, потом вернулся на свое место. – Потерпи, Наташа, вот налягу на журнал...

– И будет восемьдесят тысяч дохода? – перебила Наталья Николаевна. – Помню, ты еще в письмах из Москвы сулил.

– И ни копейки меньше, – в тон ей шутливо ответил Пушкин и стал вдруг серьезен: – Если бы ты знала, жёнка, что значит быть журналистом на Руси... Очищать русскую литературу – это все равно что чистить нужники, да еще зависеть от полиции. Весело, нечего сказать... Ну, уж, дай срок!..

– А пока что, мой друг, денег, представь, опять нет.

– Да ведь я только на днях занял восемь тысяч! – Пушкин не мог скрыть удивление.

– А долг за городскую квартиру? А дача? – перечисляла Наталья Николаевна. – И не твой ли журнал да типографчики поглотили большую долю? Это ужасно, друг мой, но денег нет. Азинька снова ломает голову над счетами.

– Экая беда! – Пушкину не хотелось продолжать разговор. – Не горюй, жёнка, пока жив, будут тебе деньги.

Из сада донесся отчаянный Сашкин плач. Пушкин подбежал к открытому окну столовой:

– Машка, отдай ему лопатку, сейчас же отдай, негодница!

Голос Пушкина слышался уже из сада.

– Не отдашь, так я у тебя отберу, – продолжал Александр Сергеевич, – видишь, какой я сильный!

Машенька секунду колебалась. Доводы отца оказались, по-видимому, убедительными. Она молча сунула лопатку Сашке. Сашка держал лопатку обеими руками. Машенька гордо удалялась. Отец неудержимо смеялся. Через минуту он был снова в столовой.

– Счастливым у Машки характер! – сказал Пушкин, садясь за стол. – Ей не будет трудно в жизни. Уже по пятому году поняла, что наступление всегда дает выгоду. А вот Сашка, увы, склонен к меланхолии. Не дай бог, коли станет писать стихи или хотя бы и презренную прозу. Каково-то ему будет тогда с царями?..

В кабинете ждала поэта «Капитанская дочка». Как и в истории Пугачева, Пушкин решил вспомнить в романе грозные события, о которых россиянам приказано было забыть. С листов, исписанных рукою Александра Сергеевича, снова хитро шурился беглый мужик,

возглавивший поход против барской неправды. И снова шестисотлетнему дворянину Пушкину суждено защищать от бар крестьянского вожака.

Давно ли вышла в свет история Пугачева, переименованная по приказу царя в «Историю пугачевского бунта»; давно ли Василий Андреевич Жуковский, возвращая Пушкину рукопись, писал с убийственной иронией «о господине Пугачеве»; давно ли министр просвещения Уваров обвинял поэта в подстрекательстве к революции; давно ли все, кому не лень, именовали автора «Истории» завзятым пугачевцем...

Уваров до сих пор не угомонился. И никогда не угомонится. Ладно бы мстил поэту за знаменитую оду «На выздоровление Лукулла», в которой все грамотные люди узнали портрет этого казнокрада, развратника и мракобеса. Но причины ненависти сановного холопа кроются гораздо глубже. Гонитель просвещения понимает, что мечта его – отодвинуть Россию хотя бы на пятьдесят лет назад – не осуществится до тех пор, пока звучит на Руси голос Пушкина. Неутомимо следит он за деятельностью поэта, вождедя той минуты, когда можно будет нанести ему сокрушительный удар.

А ныне пускают по следу Фаддея Булгарина. Какая новая беда собирается над головой? Пушкин придиричиво перечитывал рукопись «Капитанской дочки».

В вечерней тишине отчетливо раздался конский топот. Обе свояченицы поэта возвратились с верховой прогулки. Барон Жорж Дантес-Геккерен, сопровождавший их, откланялся и отсалютовал дамам подле ограды, потом прищпорил коня и вскоре исчез.

Александр Сергеевич наблюдал эту сцену из окна. На лицо его легла тень. Молча ходил по кабинету. Стало слышно, как в доме зашумели, переговариваясь, сестры.

– Александр, можно к вам? – спросила из-за двери Азинька.

– Входите, входите, дорогая, – ласково откликнулся Пушкин. – Я уже знаю от Наташи – денег опять нет?

Азинька молча склонила голову.

– Но вы знаете, Александр, – начала она, – как я хочу быть вам полезной... Можно заложить мои драгоценности.

– Знаю, все знаю, – растроганно отвечал Пушкин, – и никогда не усомнюсь в вашей дружбе. – Он поцеловал ее руку. – Увы, я не знаю другого: какие деньги могут мне помочь?

Поэт стоял у стола грустный, озабоченный.

– Денег нет, – продолжал он, – а вот братец мой Лев Сергеевич полагает, что ему раньше, чем отправиться на Кавказ и там сшибиться с горцами, должно истратить тысячи на кутежи. И зять канючит из Михайловского. Я отказался от управления Болдином и не могу торговаться из-за Михайловского. Пусть все идет прахом!

Александра Николаевна, близко знавшая дела Пушкина, не удивилась этой горькой речи.

– И Наташа мне советовала, – продолжал Пушкин, – отступись!

– Наташа?!

– Да... Отступись, мол, пока не поздно! И то сказать – Болдино уже пять раз описывали за долги и недоимки. А я все-таки хотел помочь, чтобы хоть что-нибудь сохранить от неотвратимого разорения. Хотел, чтобы ни сестра, ни брат не остались нищими и чтобы дети наши не пошли по миру. Видит бог, хотел всем помочь.

Александрина слушала не перебивая. О, будь бы она на месте Таши!..

– Авось мне хоть «Современник» поможет, – заключил в раздумье Александр Сергеевич.

– А поэзия? Люди перечитывают ваши стихи, помнят ваши поэмы, учат наизусть «Онегина» и ждут новых поэтических созданий.

– Поэзия подождет! – решительно ответил Пушкин. Он глянул на свояченицу с плохо скрытым замешательством. – Неужто и вы, Азинька, тоже подарили свою дружбу барону Геккерену?

– Полноте! – возмутилась Александрина. – Я приношу жертву Екатерине. Будет, во всяком случае, приличнее, если и я буду участвовать в ее прогулках с бароном.

Она ждала нового вопроса, от которого заранее тревожилось сердце. Что ответить, если Александр Сергеевич спросит о Наташе? Не из-за Екатерины же ездит на острова барон Дантес-Геккерен. А Таша знай сидит часами у своего любимого окна. Словно и нет на свете барона, будто не она танцевала с ним всю зиму... Поди разберись, о чем она думает.

Но Пушкин ничего больше не спросил.

Он провел за рукописью «Капитанской дочки» весь вечер. Тревожно всматривался в каждое слово и заработался. За работой, как всегда, отлетели все тревоги. Случайно глянул на часы:

– Батюшки-светы!

И побежал к жене.

Наталья Николаевна готовилась ко сну. Распустила волосы и вздумала изменить прическу. Новая прическа придала ее чертам неожиданную строгость.

Пушкин не отрывал глаз от жены.

– Жить не буду без твоего портрета, Наташа! В Москве, когда увидел полотна Брюллова, меня тотчас осенило: вот единственный достойный тебя гений кисти. Но, черт побери, зачем он сидит в Москве?!

Глава шестая

Недавняя встреча Пушкина с Карлом Брюлловым в Москве была счастливой случайностью. Поэт по привычке обегал мастерские живописцев. Здесь и встретил вернувшегося из Италии автора прославленной картины «Последний день Помпеи».

А поехал Пушкин в Москву озабоченный делами своего журнала и окрыленный возможностью поработать в московских архивах. В архивы его неотступно звала история Петра I, за которую давно взялся.

Майским утром 1836 года Александр Сергеевич подъезжал к московской заставе.

От заставы путь лежал на Тверскую. Те же, знакомые картины – и стаи галок на крестах, и львы на воротах, и ухабы на мостовой.

Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!..

А возок уже повернул в узкий Воротниковский переулочек и остановился у небольшого двухэтажного дома.

Весь дом был погружен в безмятежный сон. Потом, встречая раннего гостя, забегали слуги. Наконец и хозяин явился.

– Пушкин!

– Нащокин!

Они обнимались и целовались, а разойдясь снова бросались друг к другу.

Едва закончив первые расспросы, Павел Воинович Нащокин подвел Пушкина к игрушечному домику, возведенному по всем правилам строительного искусства. Нащокин озабоченно рассказывал о постройке и рассказывал так, будто строил Исаакиевский собор или Зимний дворец. Домик уже был обставлен миниатюрной мебелью и разнообразной посудой для сервировки столов. Павел Воинович обдумывал теперь, какому искусному мастеру можно заказать фигурки гостей, которые удостоятся приглашения на обеды и балы в миниатюрном палатце.

– И ты, Александр Сергеевич, непременно здесь будешь, – в задумчивости говорил Нащокин, любуясь своим созданием.

Пушкин, смеясь, разглядывал чудо-домик, потом обернулся к хозяину:

– А твои записки, Нащокин? Дождусь ли когда-нибудь продолжения, ленивец?

– Да, записки... Важная, конечно, вещь, – согласился Павел Воинович, не отрываясь от домика. – Ты, глянь, Александр Сергеевич, каковы канделябры в гостиной... А про записки потом поговорим... Самовар, братец, стынет, и хозяйка ждет.

– Я тебе, Александр Сергеевич, приятное известие приготовил, – сказал за чаем Павел Воинович. – Дай только бог памяти, куда я его упрятал?

Нащокин вернулся с журналом «Молва».

– Вот как тебя Белокаменная встречает. Слушай. «Давно уже было всем известно, – медленно читал Нащокин, – что знаменитый поэт наш, Александр Сергеевич Пушкин, – Нащокин поднял указательный палец, – вознамерился издавать журнал; наконец, первая книжка этого журнала уже и вышла, многие даже прочли ее, но, несмотря на то, у нас, в Москве, этот журнал есть истинная новость, новость дня, новость животрепещущая...»

Пушкин перечитал статью. Под ней стояла подпись: «В. Б.» Сведущие в литературных делах люди без труда отгадывали, что под этими инициалами укрылся молодой литератор Виссарион Белинский.

Павел Воинович Нащокин, не причастный к словесности, водил знакомство с этим литератором и даже ссужал его деньгами в трудную минуту – Белинский не выходил из бедственного положения. Правда, он всегда поражал Нащокина полным презрением ко всем тяготам жизни.

– Удивительного характера человек, – рассказывал Пушкину Павел Воинович, – а ты у него святая святых!

– А как смотрят на мой журнал «наблюдатели»? – спросил поэт, складывая «Молву».

Вопрос касался сотрудников журнала «Московский наблюдатель» – Михаила Петровича Погодина и Степана Петровича Шевырева.

– «Наблюдатели»? – переспросил Нащокин. – Ну, эти, брат, на тебя косятся. Впрочем, сам увидишь...

Пожалуй, и впрямь погорячился молодой сотрудник «Молвы», признав выход пушкинского журнала новостью животрепещущей для Москвы. Заправила «Московского наблюдателя» встретили петербургского гостя с весьма ощутимым холодком.

Когда-то, и совсем не так давно – прошло всего десять лет, – Пушкин, вернувшись в Москву из Михайловской ссылки, читал приятелям «Бориса Годунова». Что делалось тогда с Михаилом Петровичем Погодиным! Объятия, восторги, слезы! Ныне профессор Погодин, углубясь в ученые труды, спокойно взирает на создания и замыслы поэта. Прежние дружеские связи не порвались, совсем нет. Михаил Петрович, как и ранее, готов вести с поэтом беседы о царе Петре. Он обещает даже кое-что подкинуть «Современнику». Все так! Но досадой полнится сердце молодого профессора: не лучше ли Пушкину быть, хоть и нерадивым, вкладчиком «Московского наблюдателя»? А его, извольте ли видеть, вместо поэтической славы прельщает рубище журнального издателя!

Степан Петрович Шевырев, надежда и упование «наблюдателей», критик-златоуст, был занят в свою очередь затянувшейся полемикой. В Москве пребывал Александр Пушкин, а Степан Шевырев писал и говорил о Владимире Бенедиктове. Именно он провозгласил Бенедиктова первым поэтом мысли на Руси. Оценит ли эту заслугу забывчивое потомство?

Спор идет давно. Книжечка стихов Бенедиктова уже год тому назад вышла в Петербурге. Автор, кажется, и сам был удивлен свалившейся на него громкой славой. И пусть бы ахнули от стихов Бенедиктова невзыскательные и наивные профаны. Так нет! Поэт и критик князь Вяземский приглашал к себе вошедшего в моду поэта и слушал его стихи, не то очарованный, не то оглушенный звонкокипящим набором слов.

Владимир Григорьевич Бенедиктов, скромный чиновник, невзрачный собой, конфузился от непривычного внимания. Он читал свои стихи то шепотом, то вдруг вскрикивая:

Взгляни: вот женщины прекрасной
Обворожительная грудь!
Ее ты можешь в неге страстной
Кольцом объятий обогнуть...

Стихи, несмотря на «кольцевидные объятия», пока что не отличались особой оригинальностью. Далее поэт решительно порывал с обыденностью мысли:

Но и орла не могут взоры
Сквозь эти жаркие затворы
Пройти и в сердце заглянуть...

Одному Владимиру Григорьевичу Бенедиктову суждено было победить в состязании с орлом. Пройдя поэтическим взором «сквозь жаркие затворы», он оповещал читателей о том, что обнаружил в сердце «женщины прекрасной» :

О, там – пучина; в вечном споре
С волной там борется волна;
И необъятно это море,
Неизмерима глубина...

Модный поэт мог сказать еще и так:

Любовь – лишь только капля яда
На остром жале красоты...

Стихами Владимира Бенедиктова зачитывались департаментские чиновники и купчики из образованных. От них млели заневестившиеся девицы. Стихи-побрякушки не будили ни мыслей, ни чувств. Но они были чувствительны, а главное – благонамеренны. И Бенедиктова подняли на щит.

«Совершенно неожиданно раздаются его песни, – писал Шевырев, – и в такое время, когда мы, погрузясь в мир прозы, уже отчаялись за нашу поэзию... И мы, давно не испытывавшие восторгов поэтических, всей душою предаемся новому наслаждению, которое предлагает нам поэт внезапный, поэт неожиданный».

Шевыреву вторили критики в Петербурге. Но тут раздался голос Виссариона Белинского. Разобрав стихотворения Бенедиктова, он предрек ему скоропреходящую славу... года на два.

Это был открытый бунт против суждений Степана Петровича Шевырева. Спор затянулся. Шевырев не сдавался.

«Я с полным убеждением верю в то, – писал он, – что только два способа могут содействовать к искуплению нашей падшей поэзии: во-первых, мысль...»

Было очевидно, что эту новую, возрожденную мыслью поэзию и олицетворяет Владимир Бенедиктов.

Что же удивительного, если столпы «Московского наблюдателя» встретили Пушкина с холодком?..

Коренное расхождение с Пушкиным определилось у «наблюдателей» давно. Взять хотя бы отношение к Гоголю. «Наблюдатели» пишут о нем как о таланте, которому дано изображать стихию смешного или... «безвредную бессмыслицу».

Совсем не случайно, никак не по наивности, возьмется «наблюдатели» и с Бенедиктовым.

Пусть «поэт мысли» тешит своих поклонников описанием «усеста» пылающей от страсти амазонки; пусть читатели вместе с модным стихотворцем выращивают «мох забвения на развалинах любви...»

И все было бы хорошо, если бы не Виссарион Белинский. Ходит за «наблюдателями» по пятам, не пропускает без внимания ни строки, преследует их в «Телескопе» и в «Молве», а читатели, прочитав его статьи, смеются, и не над дерзостным буяном, а – страшно сказать! – над самим Степаном Петровичем Шевыревым.

И с подписчиками у «Наблюдателя» плохо. Вот если бы объединить «Московский наблюдатель» с петербургским «Современником» да громыхнуть бы на всю Россию богатырским голосом: «Кто не с нами, тот враг богу, государю и отечеству!» И богатырь такой есть в белокаменной Москве – все тот же Степан Шевырев...

Но не с Пушкиным же об этом говорить. Всегда был строптив. Секретная переписка идет у Шевырева с деятельным участником пушкинского «Современника», князем Владимиром

Федоровичем Одоевским. Авось через него удастся полонить «наблюдателям» если хоть и не самого Пушкина, то по крайней мере пушкинский журнал...

А пока что «наблюдатели», встретившись с Пушкиным в Москве, беседовали с ним о разном: Погодин клонил речь на древнюю Русь, Шевырев... но кто запомнит витиеватые речи Степана Петровича? Если же заходил разговор о журнальных делах, то «наблюдатели» в один голос жаловались на критика, лиходеяствующего в «Телескопе» и «Молве». Степан Петрович Шевырев, стоило ему упомянуть Белинского, задыхался от ненависти, даже говорил с присвистом от стесненного дыхания:

– Ничего нет для него святого!

– Нет и не будет, – гудел баском Погодин.

– Не сегодня, так завтра обрушится и на вас, Александр Сергеевич! Только объединенными усилиями всех порядочных людей можно унять непотребство!..

Глава седьмая

Пушкин возвращался к Нащокину. Павел Воинович редко бывал дома. Он расстался, правда, с таборной цыганкой и был женат, но жизнь его по-прежнему походила на таборное кочевье: вставал поздно, уезжал в клуб ранним вечером. Надо было ловить его в короткие часы.

Александр Сергеевич садился на диван по-турецки и слушал – никто из рассказчиков не мог сравниться с Нащокиным в занимательности.

Пушкин в былые годы сам начал записывать рассказы Павла Воиновича. Нащокин хорошо помнил жизнь в отчем доме. Это была феерия барской жизни, канувшей в Лету. С усердием записывал Пушкин, как совершался у Нащокиных во время оно выезд всем домом. Впереди ехал всадник с валторною, за ним – одноколка отца Нащокина, знатного генерала екатерининских времен. За одноколкой следовала генеральская карета – на случай дождя. Под козлами кареты путешествовал любимый барский шут. Далее тянулись экипажи, набитые детьми, учителями, мадамами, карлами, потом ехала фура с борзыми собаками, роговая музыка, буфет на шестнадцати лошадях, наконец, калмыцкие кибитки и разная мебель – барину, может статься, вздумается сделать привал на вольном воздухе...

– Объедение! – смеялся Пушкин, старательно записывая весь церемониал выезда.

Но записи остановились в самом начале и вряд ли будут иметь продолжение. Павел Воинович очень занят: постройка чудо-домика идет к концу. А будут ли в игрушечном дворце карлы и музыканты и какие – этого строитель еще не решил.

Вот и сядет он, задумавшись, подле единственного своего создания и унесется мыслями в детские годы. Когда-то были у Нащокиных несметные богатства, ныне остался в утешение Павлу Воиновичу один чудо-домик. Как тут не задуматься о превратностях судьбы?

– Нащокин, радость моя, – тербит его Пушкин, – прикажи подать бумагу и перо. Не пощажу трудов для потомства!

– Всему свое время, – ответит Павел Воинович и уедет в клуб...

Время Пушкина уходило на званые обеды, на родственные визиты. К поэту являлись неведомые, взыскующие славы чудаки со свитками мелкоисписанных листков. Они снисходительно соглашались стать вкладчиками «Современника».

А с утра когда дождешься Нащокина к самовару? Но Пушкин терпеливо ждет, коротая время с хозяйкой.

– Ну, каково тебя «наблюдатели» приветили, Александр Сергеевич? – спросит Павел Воинович, прикусывая сахар и медленно потягивая горячий чай.

– Не жалуют меня «наблюдатели», – отвечает Пушкин. – Да, пожалуй, и невелика в том беда. Сегодня поеду в архивы.

Поехал и вернулся с убеждением: надо засесть в московские архивы по меньшей мере на полгода. Для этого он еще раз приедет в Москву, но непременно с Наташей.

Он писал жене почти каждый день, а в душе росла тревога.

Александр Сергеевич говорил о своих семейных делах с Нащокиным с полной откровенностью. По Москве тоже ходили слухи о неизменной благосклонности царя к Наталье Николаевне. О царских исканиях поэт отзывался с издевкой и презрением, с полной уверенностью в неприступности Наташи. Когда же называл имя барона Жоржа Дантеса-Геккерена, тогда темнело лицо и глаза наливались кровью. Он, Пушкин, отказал Дантесу от дома. Но Наташе приходится встречаться с ним на балах и у общих знакомых. Дантес назойливо ищет этих встреч.

– А Наталья Николаевна? – спрашивал Нащокин.

– Наташа?.. – Поэт тяжело задумывался. – Наташа пуще всего боится толков, которые неминуемо поднялись бы, если бы она открыто оборвала это знакомство.

Нащокин слушал, пыхтя чубуком. Пушкин продолжал с горечью:

– А поправится Наташа после родов, начнутся с осени балы – и все пойдет сначала. По чести, не знаю, как вмешаться, чтобы самому не дать пищи низким толкам... Дай только повод – найдется довольно охотников чернить мое имя.

– Так что же будет, Александр Сергеевич? Толки-то все равно идут?

Пушкин не ответил. Вскочил с кресла и кружил по комнате, будто не мог найти места.

Нащокин опять запыхтел чубуком и весь скрылся в клубах густого табачного дыма. Отогнал дым рукой и еще раз взглянул на Пушкина. И страшно стало ему за человека, которого любил больше всех на свете.

А как его охранить, коли, придя в гнев, готов рубить сплеча? Вот и в Москву буквально по следам Пушкина прикатил петербургский щеголь из великосветских литераторов, граф Соллогуб.

– К вашим услугам, Александр Сергеевич... Нам остается условиться о секундантах.

Долго ничего не мог понять Павел Воинович Нащокин. Наконец выяснилось: как-то раз на петербургском бале граф Соллогуб, восхищенный красотой Натальи Николаевны, рассыпался перед нею в комплиментах. А потом Наталья Николаевна, ничего не скрывавшая от мужа, обмолвилась в разговоре: граф Соллогуб позволил себе непочтительные шутки... После чего молодой человек немедленно получил от Пушкина вызов на дуэль. История тянулась несколько месяцев. Соллогуб был в разъездах, теперь явился перед Пушкиным в Москве. Выражая полную готовность драться, он считал необходимым объяснить свое поведение. По его словам, Наталья Николаевна шутила над молодостью своего неизменного почитателя, а Соллогуб в ответ спросил ее, давно ли она сама замужем. Он заверял честным словом, что не представляет себе, какой оскорбительный смысл можно было вложить в его вопрос.

Пушкин слушал объяснение сдержанно, потом начал назидательно говорить о рыцарской почтительности, которую должны проявлять молодые люди к замужним женщинам, и вдруг, широко улыбнувшись, протянул Соллогу руку.

Мировая была заключена. А Нащокин так и не мог понять, из-за какого выеденного яйца чуть было не состоялся поединок...

Однако, чем больше раздумывал Павел Воинович, тем больше недоумевал: неужто Наталья Николаевна, будучи замужем шестой год, вовсе не знает характера Пушкина?

Как же его охранить? Что за история завязалась в Петербурге с бароном Дантесом-Геккереном?

Ночью, возвратясь из клуба и отходя на покой, придумал наконец Павел Воинович верное средство: заказать для Пушкина, а заодно и для себя кольца с бирюзой. Чудодейственная бирюза спасет от всех зол и бед.

Нащокин хлопотал о кольцах. Литературная Москва следила за битвой Виссариона Белинского со Степаном Шевыревым. «Наблюдатели» приходили в ярость.

К отъезду Пушкина кольца с бирюзой были готовы. Но, обнимая перед разлукой самого любимого человека, грустен был Павел Воинович. Сгинул, хвала всевышнему, граф Соллогуб. Но существует в Петербурге барон Дантес-Геккерен и не дает Пушкину покоя.

Сколько раз ни спрашивал Нащокин: «Что же будет, Александр Сергеевич?» – так ничего и не ответил ему поэт.

Вскоре из Петербурга пришло от Пушкина письмо:

«...Я оставил у тебя два порожних экземпляра Современника. Один отдай кн. Гагарину, а другой пошли от меня Белинскому (тихонько от Наблюдателей, *nb*) и велб сказать ему, что очень жалею, что с ним не успел увидеться».

Вот, кажется, главный вывод, который сделал Александр Сергеевич из поездки в Москву. И еще писал Пушкин:

«...Деньги, деньги! Нужно их до зареза».

Долго вертел письмо в руках Павел Воинович. Впрочем, думал не о деньгах. Что деньги – прах... Но неужто не проявит свою силу чудодейственная бирюза?

Глава восьмая

– Смотрю я на вас, Александр Сергеевич, и вспоминаю мудрые слова Андрея Александровича Краевского: служение музам несовместно с обязанностями журналиста.

– Да неужто несовместно? – откликается Пушкин. – И вам, Владимир Федорович, и господину Краевскому душою благодарен за помощь, но согласитесь – я от дела тоже не бегаю.

Пушкин взял со стола корректуру:

– Извольте взглянуть: пропуск целой строки – о ужас! – в «Битве при Тивериаде», прости, всевышний, автору его грех перед словесностью!

Поэт отыскал нужное место и торжественно прочел:

– К о р о л ь. Кто за великого магистра?
К н я з ь Б о э м у н д. Я...»

– «Я»! – повторил Александр Сергеевич. – И этакой шекспировской строки лишились бы читатели «Современника»! Но покаюсь вам, Владимир Федорович, сам автор пресек преступный умысел типографщиков. – Пушкин хитро прищурился. – А может быть, нам и вовсе не следует печатать сей плод тяжеловесного вдохновения?

– Помилуйте, Александр Сергеевич! Из чего же было выбирать? Уехав в Москву, вы вовсе не определили состав второго номера, и нам с Андреем Александровичем Краевским не пришлось быть особо придирчивыми при разборе оставленных вами запасов.

– Грешен, ох, грешен! – перебил Пушкин. – Все обстоятельства были против меня, а в Москву мне нужно было безотлагательно ехать. – Он задумался, словно проверяя: так ли уж нужно было ехать в Москву?

– А «Битву при Тивериаде», – продолжал Одоевский, – нам бог простит. И то сказать: Андрей Николаевич Муравьев – автор весьма самолюбивый, а при ущемленном самолюбии может быть очень опасен.

– «Кто за великого магистра? Я!» – отшутился Пушкин. – Ну и быть мне в ответе. Но поскольку второй номер вашими трудами, Владимир Федорович, собран, отныне клятвенно обещаю: возьмусь за журнал засучив рукава. – Он вздохнул. – Представьте, первый номер «Современника» до сих пор далеко не весь разошелся. Чего же подписчикам надобно?

– Оповещение, Александр Сергеевич, было совершенно недостаточное. Многие в провинции и сейчас не знают, где можно подписаться на ваш журнал.

– Не понимаю! – продолжал Пушкин, не обратив внимания на слова Одоевского. – Гоголя мы этим неуловимым подписчикам, считаю, даже в расточительном изобилии дали: и статью, и «Коляску», и «Утро делового человека», – им все мало? И аз многогрешный не поскупился: «Путешествие в Арзрум» и «Скупой рыцарь», – не считаю мелочей. А парижские письма Александра Ивановича Тургенева? Кто читал хронику более живую и всеобъемлющую? И во всем номере ни одного переводного романа, ни одной переводной повести, чем усердно заполняют пустоту наши журналы! Но вот подите же – не подписываются на «Современник»! Неужто же «Библиотека для чтения» вконец развратила вкус?

Владимир Федорович молчал. Конечно, он вовсе не сочувствовал дурному вкусу «Библиотеки для чтения», которую редактировал профессор Сенковский. Но и Пушкин, пожалуй, не совсем прав. Как он хвалит, например, некоторые повести и статьи самого Одоевского, а печатать под разными благовидными предлогами медлит. Хитрить изволит Александр Сергеевич, но куда клонит – не разгадать. А вот к какому-то горцу, правда, вышедшему в офицеры, благоволит сверх всякой меры. Напечатал в первой же книжке «Современника» его «Долину Ажитугай», да еще сопроводил послесловием – и каким! Вот, мол, чудо: «черкес изъясняется на русском языке свободно, сильно и живописно». Сам-де Пушкин не хотел переменить ни

одного слова в его очерке. Радовался новому сотруднику бог знает как – ну, и получил внушение от графа Бенкендорфа: не печатать произведения офицеров без разрешения военных властей. И все-таки добился Александр Сергеевич своего: опять идет в журнал Газы Гирей, теперь с «Персидским анекдотом». И опять не надышится Пушкин на этот анекдот, и каждому объявляет: это только первая ласточка! Похоже, что собирается пестовать в своем журнале новых писателей из инородцев. Эфемерная мечта! Будто нет более важных дел. Вернулся из Москвы и в ответ на коренной вопрос о переговорах с Шевыревым и Погодиным только безнадежно махнул рукой. Неужто же погибать «Современнику» в гордом и бесплодном одиночестве? Давно тревожится об этом Владимир Федорович.

– А Гоголь-то! Гоголь! – вдруг вспомнил Пушкин. – Помните, чему уподобил он в своем разборе альманах «Мое новоселье»? Сидит, мол, на крыше опустелого дома и мяукает тощий кот. Конечно, самое удачное уподобление не может заменить критики, согласен! Однако я бы за одного такого кота стал подписчиком «Современника» навечно.

И долго от души смеялся Александр Сергеевич...

Они стали разбирать корректуры.

– Кстати, Владимир Федорович, покорно прошу передать Краевскому текст оповещения от редакции. Пусть непременно поместит в выходящий номер!

Александр Сергеевич передал гостю небольшой лист, собственноручно им писанный.

«Статья, присланная нам из Твери с подписью А. Б., – прочел Одоевский, – не могла быть напечатана в сей книжке по недостатку времени. Мы получили также статью господина Косичкина. Но, к сожалению, и эта статья доставлена поздно, и мы, боясь замедлить выход этой книжки, отлагаем ее до следующей».

– Как? Опять воскреснет приснопамятный Феофилакт Косичкин? – удивился Одоевский. – Да ведь Булгарина непременно поразит удар, коли вновь выступите вы, Александр Сергеевич, под личиной этого простодушного на вид героя.

– Пора бы господину Косичкину вернуться на покинутое им поле брани, – отвечал, улыбаясь, Пушкин. – Не знаю только, будет ли он способен к новому поприщу. А поугагать Булгарина до смерти охота! Не зря о моей истории Пугачева вспомнил. Чует поживу!

– А что это за статья А. Б., прибывшая из Твери? – продолжал расспрашивать Владимир Федорович. – Почему требуется о ней особое уведомление в журнале?

Пушкин, отвернувшись, перебирал бумаги.

– Александр Сергеевич, что это за важная персона – А. Б.?

– Отыскался в Твери очень полезный вкладчик для журнала, – уклончиво отвечал поэт. – Представьте, вооружается против нас самих и притом пишет весьма дельно. Прелюбопытная статья. Я уже и в переписку отдал. – И сразу перевел разговор.

Александр Сергеевич хранил под строжайшим секретом задуманное им выступление в журнале от имени тверского вкладчика. Надо было сказать читателям в удобной форме свое мнение о статье Гоголя, открывшей первый номер «Современника». Если бы статья Гоголя «О движении журнальной литературы» появилась, как предполагалось, за подписью автора, было бы одно. Но статья вышла анонимно, ее можно было принять за программу нового журнала. А это вовсе не отвечало намерениям Пушкина.

И еще многие свои замыслы, очень важные для журнала, связывал редактор-издатель «Современника» со статьей А. Б. В печатном тексте статьи Гоголя не осталось, например, ни одной строчки о Виссарионе Белинском. Пристало ли и далее играть «Современнику» в молчанку?

Но ничего не открыл Пушкин Одоевскому. Шатается во мнениях своих Владимир Федорович и мирволит «наблюдателям». Хочет быть всеобщим примирителем в словесности.

Вот если бы дело касалось музыки, там не знает Владимир Федорович никаких шатаний. Всякий разговор свернет на оперу Глинки «Иван Сусанин», которую готовят на театре. Про-

ник, мол, Глинка в самый дух народных напевов – и открыл столбовую дорогу всем будущим русским музыкантам...

Проводив Владимира Федоровича, Пушкин занялся чтением статей, назначенных во второй выходящий номер. И опять задумался над статьей князя Вяземского о «Ревизоре». Кажется, уже весь Петербург успел пересмотреть комедию Гоголя, но так и не стихает поднимающийся вокруг нее шум. Противники Гоголя наступают единым фронтом. Надо бы и «Современнику» принять бой с ними в открытую. Но не хочет глядеть правде в глаза хитрец Вяземский.

«Комедия сия, – значит в статье Вяземского, – имела полный успех на сцене: общее внимание зрителей, рукоплескания и единогласный хохот».

Где же услышал Вяземский этот единогласный хохот? Не вплетается ли в смех зрителей змеиный шип врагов «Ревизора»?

И в защите комедии переусердствовал, не пощадив Гоголя, умный критик.

«Зачем клепать на сценические лица? – вопрошает Вяземский. – Они более смешны, чем гнусны: в них более невежества, необразованности, нежели порочности... Тут нет утеснения невинности в пользу сильного порока, нет продажи правосудия...»

Выходит, городничего Сквозник-Дмухановского следует считать жертвой одной необразованности, а судью Тяпкина-Ляпкина, например, неподкупным слугой нелюбезной Фемиды?

– Ох, ваше сиятельство, ваше сиятельство! – Пушкин читает и хмурится. – Чего ради изволите лукавить? Не поздоровится Гоголю от таких похвал.

И вспомнились Александру Сергеевичу события совсем недавние: первое представление «Ревизора» и письмо, полученное от Гоголя после этого спектакля. Многие актеры поняли «Ревизора» как пустой фарс. Но именно эти актеры удостоились высочайшего одобрения. И усердные критики заголосили: фарс, пустой, грязный, лишенный всякого правдоподобия фарс!

Гоголь, смятенный и подавленный, покинул родину. Легко ли будет прочесть ему в пушкинском журнале, что лица его комедии более смешны, чем гнусны?

Подобное уже было в Москве. Шевырев лез из кожи вон, чтобы доказать читателям, что удел Гоголя – безобидный смех. А критик, вступившийся за Гоголя, отвечал Шевыреву: «...его повести смешны, когда вы их читаете, и печальны, когда вы их прочтете...» Отповедь Шевыреву дал все тот же Виссарион Белинский.

«Опять он», – раздумывает, оторвавшись от статьи Вяземского, редактор-издатель «Современника».

Вяземского не сравнишь, конечно, с напыщенно-вздорным Шевыревым, однако же статью о «Ревизоре» следовало бы написать в «Современнике» совсем иначе. Но теперь поздно об этом толковать. Типография не будет ждать, а журнал не может выйти без статьи о «Ревизоре». Да и кто бы мог написать о Гоголе как должно?

Александру Сергеевичу приходит в голову лукавая, дерзкая мысль: есть в Москве критик, который умеет писать о Гоголе как должно. Но рано дразнить гусей.

В статье Вяземского было сделано важное примечание, адресованное «Московскому наблюдателю»:

«Нельзя не желать для пользы литературы нашей и распространения здравых понятий о ней, чтобы сей журнал сделался у нас более и более известным. Особенно критики его замечательно хороши».

Дальнейший текст примечания еще больше озадачил Пушкина:

«Невыгодно попасть под удары ее, но по крайней мере оружие ее и нападения ее всегда благородны и добросовестны. Понимаем, что и при этом случае издатели «Телескопа» и другие могут в добродушном и откровенном испуге воскликнуть: избави нас боже от его критик!»

Издатели «Телескопа» и другие? Нетрудно понять, что речь опять идет о Виссарионе Белинском, который и в «Телескопе» и в «Молве» разносит в пух и прах критики Степана Шевырева.

Положение редактора-издателя «Современника» было нелегким. В журнале появится статья Вяземского с откровенной хвалой Шевыреву. А он, Пушкин, хоть и тайком от «наблюдателей», уже приветил Виссариона Белинского. И разве сейчас не таит он своих намерений от ближайших сотрудников по «Современнику», как скрыл их в Москве от «наблюдателей»?

– Ужо! – промолвил Александр Сергеевич, отвечая на собственные мысли.

И надо бы ему снова углубиться в рукописи и корректуры. Но вдруг захотелось свежего, горячего чая. Он взял колокольчик и позвонил. Выждал время и опять стал звонить. Весь дом будто вымер. Никто не отозвался. Тогда пошел сам в людскую.

Глава девятая

Если удавалось выбраться на дачу, Пушкин и здесь не менял обычного распорядка – работал до четырех часов дня. «Капитанская дочка» быстро подвигалась к концу.

И все-таки пришлось оторваться от романа. Недавняя атака, произведенная в «Северной пчеле» на редактора «Современника» и автора «Истории пугачевского бунта», еще раз свидетельствовала о том, что поэту никогда не простят его беспристрастного отношения к «чудовищному феномену» – Пугачеву. Но и автор «Капитанской дочки» не намерен сидеть сложа руки.

Еще до выхода в свет романа Александр Сергеевич снова изложит в журнале свой взгляд на Пугачева и пугачевщину. Поводом будет выступление «Северной пчелы», но, конечно, он ответит не только Булгарину.

«Несколько дней после выхода из печати «Истории пугачевского бунта», – писал Пушкин, – явился в «Сыне отечества» разбор этой книги... Недавно в «Северной пчеле» сказано было, что сей разбор составлен покойным Броневским, автором «Истории Донского войска».

Книга Броневского была свежа в памяти. Историк Донского войска не мог, конечно, не коснуться Пугачева. Его верноподданническая книга стала как бы ответом на пушкинскую историю Пугачева. Рецензия же Броневского на труд поэта могла бы считаться образцом невежества, если бы не была одновременно замаскированным доносом. А теперь Булгарин «всемирно» возвещает в «Пчеле», что книга Пушкина поколебалась от первых замечаний покойного Броневского!

Пушкин помнил очень хорошо: в свое время нашелся критик, который назвал этого, с позволения сказать, историка «несчастливым мучеником терпения и бесталанности». А о книге его «История Донского войска» писал: «Прочтите ее сто раз и ничего не узнаете, ничего не удержите в памяти».

Просто удивительно, как часто он, Пушкин, встречается на едином пути с этим критиком! И критик все тот же – Виссарион Белинский.

Поэт еще раз перечитал свои записки и, готовя статью для «Современника» в защиту Пугачева, решительно написал:

«Политические и нравоучительные размышления, коими г. Броневский украсил свое повествование, слабы и пошлы...»

И поставил знак сноски. В сноску пойдет, для примера, одно из таких размышлений автора «Истории Донского войска»:

«Емелька Пугачев бесспорно принадлежал к редким явлениям, к извергам, вне законов природы рожденным; ибо в естестве его не было и малейшей искры добра, того благого начала, той духовной части, которые разумное творение от бессмысленного животного отличают. История сего злодея может изумить порочного и вселить отвращение даже в самых разбойниках и убийцах. Она вместе с тем доказывает, как низко может падать человек и какую адскою злобою может быть преисполнено его сердце. Если бы деяния Пугачева подвержены были малейшему сомнению, я с радостию вырвал бы страницу сию из труда моего».

Доколе же будут подменять историю глупыми и пошлыми сказками вроде тех, что сочиняет Броневский? Может быть, эти сказки утешительны для потомков тех бар, которых вешал Пугачев, но нимало не полезны для познания исторической правды. А правда эта и в самом деле жестока.

Вот и герой «Капитанской дочки», бывший недоросль Петруша Гринев, умудренный к старости жизнью, говорит между прочим:

«Молодой человек! Если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений...»

Но Пушкин умеет видеть историческую правду. Восстание Пугачева поколебало государство от Сибири до Москвы и от Кубани до Муромских лесов. Как живой стоит перед глазами беглый донской казак с лукавой, умной прищуркой. Поэт будто наяву слышит его голос: «Улица моя тесна; воли мне мало...»

...На даче шла шумная, бестолковая жизнь. За стеной громко перекликалась прислуга, в столовой гремели посудой. Кто-то бегал по всему дому в поисках какой-то пропажи. Лишь в комнате, отведенной под летний кабинет хозяина, царил образцовый порядок. Ни намек на то, что именуют поэтическим хаосом. Аккуратно прибраны рукописи. Очинены перья. Ничего лишнего на столе, только стопка приготовленной бумаги.

Пушкин трудился над статьей для «Современника». В свое время император Николай I пропустил пушкинскую «Историю Пугачева» в печать, – должно быть, в назидание господам дворянам. Пусть-де вспомнят о недавнем прошлом. Авось уберегутся от вольномыслия. Но первая же попытка поэта приоткрыть подлинную страницу народной жизни тотчас стала боевым сигналом для встревоженной челяди, вскормленной у подножия трона. Против Пушкина двинуты силы ложной науки; стрекочет о «чудовищном феномене» Булгарин; затаились, выжидая удобной минуты, высокопоставленные преемники усмирителей Пугачева.

А Александр Сергеевич знай пишет статью о Пугачеве для своего журнала. Опрокинуты, сметены с фактами в руках все замечания невежественной критики. В текст будущей статьи войдут новые документы. Читатель с любопытством прочтет подлинный указ Екатерины II о сожжении в станице Зимовейской двора Пугачева, «которого имя останется мерзостно навеки». Жилище Пугачева, гласил указ, надлежало сжечь, пепел развеять через палача, а самое место огородить надолбами и окопать рвом, «оставя на вечные времена без поселения как оскверненное жительство на нем все казни лютые и истязания делами своими превосшедшего злодея...»

Вот как боялись не только имени, но и тени Пугачева!

Пушкин, пользуясь книгой Броневского, соберет воедино все ходячие суждения официальной историографии. В таком букете они поразят даже неискушенного читателя своей наивной и злобной напыщенностью. Пугачеву, оказывается, «недоставало самой лучшей и нужнейшей прикрасы – добродетели»; двенадцатилетний Пугачев «уже гордился своим одиночеством, своею свободою»; по пятнадцатому году «он уже не терпел никакой власти»; на двадцатом году ему (о злодей!) «стало тесно и душно на родной земле; честолюбие мучило его; вследствие того он сел однажды на коня и пустился искать приключений в чистое поле...»

Немало трудился Александр Сергеевич, чтобы преподнести читателю эти убогие цветы лженаучного красноречия.

Отложил перо. Перечитал готовое, снова обратился к выпискам.

– Кушанье на столе, Александр Сергеевич! – доложил, войдя в кабинет, слуга.

За обедом Пушкин был рассеян. Эх, поместить бы задуманную статью в выходящий номер «Современника»! Но такой возможности нет. Придется ждать, а каково ждать! Тут не только высохнут чернила – душа изнеможет. Кажется, совсем забыл, что, готовя статью о Пугачеве, может быть, закрывает ворота «Капитанской дочке».

После обеда поэт сидел в саду с женой. Наталья Николаевна все еще не решалась выезжать и, по-видимому, сучала. Она оживилась только тогда, когда из города вернулась Екатерина.

– Вообрази, Таша! В городе только и говорят о петергофском празднике...

– И потому, – откликнулся Пушкин, – дамы держат в осаде мастерскую мадам Сихлер?

– К вашему сведению, Александр Сергеевич, – отвечала ему Екатерина, – ни одна модная лавка уже не берет заказов к этому дню. Посчитайте, сколько коротких дней осталось до первого июля? И ты, Таша, конечно, опоздала. Впрочем, какая модистка тебе откажет: шить на тебя – для них высшая честь и счастливая возможность войти в моду у самых взыскательных заказчиц. Для тебя, пожалуй, сделают исключение, если ты решишь ехать в Петергоф.

– Наташа не выезжает по уважительным причинам, – перебил Пушкин. – Отсутствие на петергофском празднике ей не поставят ни в вину, ни в обиду.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.